

Николай Бажин

Степан Рулев



Николай Федотович Бажин

Степан Рулев

«Никита Никитич Рулев был женат два раза и имел двух сыновей. Старшего (от первого брака) звали Андреем Никитичем, а младшего (от второго) Степаном Никитичем.

Старик Рулев сначала был крестьянином и пахал землю; потом был забран в солдаты и исполнял свою обязанность очень усердно: из сражений он вынес одиннадцать ран и капитанский мундир. Старик был умен, храбр и очень силен. Рулев младший, имея и мать довольно умную, да притом родившись совершенно здоровым, не имел никаких резонов выйти дураком, тем больше что и жизнь с самого начала повела его не к апатии, а к усиленной мозговой деятельности. Отец не вмешивался в развитие младшего сына, потому что не любил его, а благодаря матери Рулева младшего действовал на ребенка другой, в то время в высшей степени полезный и редкий человек...»

Содержание

Николай Федотович Бажин Степан Рулев . .	.0004
I0005
#30016
II0017
III0028
IV0033
V0038
VI0046
VII0053
VIII0056
IX0061
X0067
XI0073
XII0078
XIII0085
XIV0092
XV0095
XVI0099
XVII0103
XVIII0106
XIX0111
XX0112
#230115

Николай Федотович Бажин
Степан Рулев

Никита Никитич Рулев был женат два раза и имел двух сыновей. Старшего (от первого брака) звали Андреем Никитичем, а младшего (от второго) Степаном Никитичем.

Старик Рулев сначала был крестьянином и пахал землю; потом был забран в солдаты и исполнял свою обязанность очень усердно: из сражений он вынес одиннадцать ран и капитанский мундир. Старик был умен, храбр и очень силен. Рулев младший, имея и мать довольно умную, да притом родившись совершенно здоровым, не имел никаких резонов выйти дураком, тем больше что и жизнь с самого начала повела его не к апатии, а к усиленной мозговой деятельности. Отец не вмешивался в развитие младшего сына, потому что не любил его, а благодаря матери Рулева младшего действовал на ребенка другой, в то время в высшей степени полезный и редкий человек. Из-за этого-то человека старый Рулев не любил ни младшего сына своего, ни мать его, Лизавету Николаевну. Человек этот был бедный, вечно больной учитель, от кото-

рого теперь не осталось ни креста на кладбище, ни памяти в свете, но убеждения которого спасли человека не в одном из мальчиков, приближавшихся к нему. Лизавета Николаевна еще до замужества любила его, не потому, конечно, чтобы понимала вполне его ум и его роль относительно будущего поколения, а потому просто, что она молода и он молод. Он был в высшей степени симпатичная личность, личность честная, да кроме того поражающая оригинальным окладом ума и, вследствие этого, своим одиноким положением среди остального общества. Учитель не любил Лизавету Николаевну, но знал ее как неглупую девушку, а потому сошелся с ней и, пользуясь влиянием на нее, научил ее смотреть на жизненные отношения иначе, чем смотрит большинство. До самой своей смерти он оставался *только* другом Лизаветы Николаевны. Не женился он на ней потому, что любил другую девушку.

За Лизавету Николаевну в это время посватался Никита Никитич Рулев, незадолго перед тем овдовевший. Мать Лизаветы Николаевны была женщина бедная, существовавшая

только работой, и потому ей долго думать было нечего. Одели Лизавету Николаевну в белое платье, вплели в ее волосы цветы, подвели к налою, а затем и передали в домик старого капитана. Горько тосковала Лизавета Николаевна, потому что человеку, постоянно думавшему о лучшей жизни и привыкшему к мыслям об этой жизни, – тяжело войти в другую жизнь. Мозг работает в прежнем направлении, – мысли прежние, а жизнь иная. В это же время заболел учитель, и заболел уже безнадежно. В какой-то дождливый осенний вечер Лизавета Николаевна пришла к нему с старой нянькой.

– Вы больны? – спросила молодая женщина, тихо вздрагивая.

– Очень болен, – отвечал учитель, приподнявшись на локте с своей кровати.

– Выздоровеете, бог даст, – чуть слышно проговорила Лизавета Николаевна.

– Нет, – спокойно отвечал учитель.

– Возьмите эти книги, Лизавета Николаевна, – сказал он после тяжелого молчания. – В них я оставляю вам все мое наследство.

Лизавета Николаевна взяла книги.

– И прощайте, будьте счастливы, – проговорил опять учитель.

Молодая женщина, рыдая, ушла.

Учитель умер в эту же ночь, и вся любовь молодой женщины кончилась тем, что заронила в ней много дельных, человеческих мыслей, да еще разнеслись сплетни по городу об ее прощанье с учителем. Утверждали, что это свиданье далеко не было первым. Слухи эти дошли до старого капитана, который, поверив им, пожалуй и вовсе не считал Степана своим сыном. Поверил же он им потому, что Лизавета Николаевна была вечно задумчива и грустна, думала, очевидно, не о нем, – и весь он возмущался при мысли, что она, жена его, может думать о ком-нибудь другом кроме него – ее мужа и господина.

Лизавета Николаевна все тосковала. К старшему сыну капитана, Андрею Никитичу, она не чувствовала особенной склонности, да и он почему-то дичился ее. Когда родился Степан Рулев, и молодая женщина страстно привязалась к нему, во-первых, потому, что молодым силам ее открылась деятельность, во-вторых, что, наконец, явился человек, на при-

вязанность которого она твердо могла рассчитывать, а одиночество было ей уже слишком тяжело. Прежние мысли не оставляли ее. Часто думала она об умершем учителе и представляла себе жизнь, которою наслаждалась бы она, если бы жила с ним, а не с старым Рулевым. Рассказывая сказки своему маленькому сыну, она часто с глубокой тоской выводила в них учителя и его жизнь, потом постепенно передавала сыну взгляд учителя на жизнь и даже читала ему рукопись покойного под заглавием: «О человеческих отношениях». Эти-то мысли, во многом не сходные с мыслями местного общества, и будили умственную деятельность ребенка. При других условиях из него вышел бы отвлеченный мыслитель, но с самого же начала его здоровая натура повела его по другой дороге. Он наследовал от отца большую физическую силу, как другие наследуют чахотку. Мускулы его просили деятельности – тянули его бороться, бегать, плавать. Среди деревянных барчонков, разодетых как куклы, прогуливавшихся по улицам в сопровождении нянек, ему было невыносимо скучно. Скоро сошелся

он с рыбацкими детьми и, наскучив книгами, по целым дням проводил за городом на реке – учился плавать, грести на лодке, править рулем, ловить рыбу и ставить парус. Варил он где-нибудь на пустом берегу с маленькими рыбаками уху, купался с ними, пел их песни, а возвращаясь к ночи в город, правил рулем или греб, как настоящий рыбак-ребенок. Он жил с рыбаками как с братьями и был весел, потому что наслаждался превосходнейшим здоровьем. Промышляя с мальчиками-рыбаками и сестрами их, – которые также усердно работали, – Рулев с малолетства привык смотреть на женщину только как на человека и ни в какие тонкости относительно женщины не пускался.

Под влиянием такой жизни он быстро усвоил некоторые, пока еще очень немногие мысли из рукописи: «О человеческих отношениях», а остальное являлось ему как предчувствие какой-то иной, светлой жизни. Сам он не имел еще данных, необходимых для понимания этого остального, а мать не могла дать ему ясного объяснения.

Вследствие всего этого из него вышел вот

какой мальчик:

Как-то научили одного барчонок спросить Степана при Лизавете Николаевне: как ему не стыдно играть с такими нищими? Разве они родные ему или братья?

Барчонок и спросил.

– Что? – сказал Рулев, подымаясь из-за книги.

– Разве они тебе родные или братья? – повторил барчонок заученный вопрос.

Лизавета Николаевна вспыхнула.

– Нищий ты, – ответил, побледнев, мальчик. – Ты живешь подаяньем, а они сами себе достают хлеб. Ты что умеешь делать? А они с голода не умрут... А в другой раз я тебе за это в кровь разобью морду, – проговорил, тяжело дыша, мальчик, и как-то страшно вышло у него слово кровь. – Слышишь? – закончил он и, тяжело дыша, подошел к матери.

– Вели ему уйти, – сказал он, чуть не задыхаясь от тяжелой злобы.

После этой сцены Лизавета Николаевна целый день просидела очень задумчиво. Отчего задумчиво? Оттого, что в сыне она ясно видела повторение покойного учителя и, как

мать, боялась за его будущее. Так называемых «людей дела» она не видала и не знала ничего о них, а если бы знала, то, верно, всю эту ночь прорыдала и промолилась бы о сыне как о погибшем для нее. Рулеву младшему было в это время уже одиннадцать лет. Он читал много, жадно и быстро, читал все, начиная от французских романов до книг духовного содержания и дельных исторических сочинений. Иногда, когда не хотелось идти на реку, он читал с раннего утра до поздних сумерек, и в это уже время был близорук. Отец не вмешивался в его занятия, а сын относился к отцу равнодушно, потому что бесконечно любил мать. Один раз как-то мальчик работал в саду – рыл землю, и железная лопата только звенела о камень да поблескивала в его мускулистых руках. Отец остановился за ним и смотрел на работу.

– Да ты, брат, силач, – сказал он наконец.

Мальчик положил подбородок на рукоять лопаты и пристально взглянул на отца.

– Я скоро сильнее тебя буду, – сказал он серьезно, смотря отцу в глаза.

Старик тоже посмотрел на него, повернул-

ся и ушел.

Затем отец отдал его в одно учебное заведение. В этом заведении было мало толку: кормили плохо, зимой было холодно, работа – не по силам, ученье было в высшей степени мертвое и гнилое. Мальчики болели и от науки бегали. Рулев с своим здоровьем вынес сырость, холод и скверную пищу, но на науку тоже рукой махнул. Человек в нем не мог погибнуть, потому что мозг, долго работавший и, так сказать, привыкший к работе, много еще лет будет работать и сам по себе. Рулев опять взялся за книги. В свободные часы он бегал, играл в мяч, боролся, таким образом все силы его были в действии, и, значит, жить можно было. Так прошло несколько лет его жизни в школе. В семнадцать лет у него набралось громадное количество знаний, вынесенных из чтения. Знания эти представляли страшный хаос, противоречили одно другому. Надо было найти ложь и правду. С этой поры началась серьезная умственная деятельность Рулева.

Счастье человека казалось Рулеву естественным, как деятельность мускулов, пока

мускулы живы, как пользование воздухом, пока не сгнили легкие; а большинство людей страдает, да еще проповедует полное отречение от всякой радости.

Люди не отличаются много друг от друга, – а в их положении страшная разница.

Женщина – тот же человек, с такими же силами и неизбежным стремлением дать деятельность этим силам; а для нее деятельность сделана труднодоступной.

Для верного доставления и решения этих задач сам собою представлялся вопрос: что такое человек, какие условия его жизни, его силы и потребности? Рулев взялся за анатомию, физиологию и вспомогательные науки, доставал, какие только возможно было, медицинские книги, но брал из них только строго доказанные факты, отвергая всякие бредни натурфилософов. Человека абсолютно Рулев узнал. Для решения вопроса о влияниях на человека всей остальной природы он взялся за историю и все относящиеся сюда знания... Мускульная работа его тоже не прекращалась: он плавал, с любовью занимался гимнастикой, не бросал ни одной из игр, развивав-

ших силу.

В двадцать лет он уже совершенно сформировался физически и выработал самостоятельный, строго реальный взгляд на жизнь. Никто на его глазах не смел поднять на смех какого-нибудь бедного труженика-человека. Один барич из его товарищей попробовал как-то, но взглянул на побледневшее лицо угрюмо поднявшегося Рулева и дал тягу.

В это время Рулев сделался угрюм, потому что, по его взгляду на жизнь, надо было искать работу по сердцу, а Рулев был пока связан. Скоро он завел переписку с отцом. На его первое, очень немногословное письмо старый капитан отвечал, что у него есть теперь впереди верный кусок хлеба, и поэтому толковать не о чем. Рулев написал за этим еще более краткое письмо, в котором говорилось, что если отец не может помочь ему, то он попробует обойтись и без него. Старик прислал ему следующее послание:

Рулев не отвечал на это письмо. Он давно порешил, что дело не останется и не должно остаться в прежнем положении. Прежде всего нужны были деньги. Дело было во время школьных экзаменов. Рулев работал за десятиртых: писал целые диссертации, переписывал огромнейшие тетради, переводил целые книги, одним словом, работал день и ночь и деньги приобрел. Затем он простился со школой, надел, вместо куртки, старенький сюртучок, подвязал за плечи котомку и ранним утром, еще до восхода солнца, отправился в дорогу. Первый день пути он был угрюм и задумчив, не потому, чтобы будущее представлялось ему трудным и нерадостным, а потому просто, что жизнь, шедшая однообразно несколько лет, теперь переменялась. Я согласен с гигиенистом, говорившим, что человек много лет проживший в темной и душной тюрьме, — по выходе из нее будет жалеть о ней. Пожалуй, это не жалость, а просто неловкость, тяжелое положение, когда мысль создает старые лица и места, а лиц этих уже

нет, да и вовсе они неуместны при новой обстановке.

Но пошли села и деревни, по дорогам обозы, – и мысли Рулева приняли другое направление. Из своих занятий Рулев вынес одно убеждение, что нужно крепко работать. Его нормальная, здоровая натура говорила ему, что счастье человека только в деятельности всех его сил. Но как и где работать? Для этого надо было сначала потолкаться между людьми и посмотреть на жизнь в разных местах. Значит, нужна была полнейшая независимость – без всяких стеснений: жить, где угодно, заниматься, чем найдет нужным, и т. д.

– Ты кто такой? – спрашивали теперь Рулева.

– Человек, – отвечал он обыкновенно...

– Куда же ты, человек, идешь?

– Иду из школы на родину, – говорил Рулев и отправлялся дальше.

Но, раздумывал он, если впоследствии меня встретят на дороге путешествующим куда-нибудь пешечком, если спросят паспорт и найдут, что он действительно только чело-

век, – чина никакого не имеет, ремесла тоже, а бродит без особенной цели, то человека могут и в полицию стащить. Это вышло бы очень неудобно, и Рулев порешил, что нужно держать экзамен на какого-нибудь учителя.

Он остановился в городе, понравившемся ему своим положением на большой судоходной реке. На базаре стон стоял от собравшегося бурлачества, судохозяев и торговцев. На реке толпились барки, сплавы леса и лодки – значит, город был веселый и деятельный; разный люд сходился в него со всех губерний и опять расходился во все края. Рулеву ничего лучшего не надо было. В то время он был здоровый, высокий, широкоплечий мужчина, с загорелым от путешествия лицом, смотрел откровенно, говорил еще откровеннее, и хорошему человеку можно было сойтись с ним в один день. Предполагаемое дело не заняло еще всех его способностей, да к тому же тогда в нем не накипела еще вся, развившаяся впоследствии, непримиримая злоба и ненависть ко всей жизненной мерзости. Положение его тоже возбуждало в нем веселые мысли, потому что завтра же он мог сделаться конторщи-

ком, приказчиком, домашним учителем, каменщиком или фабричным рабочим, и, во всяком случае, с голода умереть не располагал, так как был здоров и силен.

В тот же день вечером Рулев отправился на базар, потолковал с бурлаками, а затем зашел в базарную «таверну», спросил там бутылку пива, закусил, покурил, подумал и решился завтра же искать занятие.

На другой день он зашел в книжную лавку, поговорил с купцом и увидел, что тот и сам ее знает, что у него за книги продаются.

– Хотите вы меня приказчиком взять? – спросил Рулев. – Через неделю я книги приведу в порядок, сделаю им опись, и всякую книгу можно будет в две минуты найти; а не сумею, так прогоните и денег не давайте.

Купец долго был в нерешимости, думая, не подвох ли тут какой, но потом согласился взять его на испытание, и через месяц Рулев был в лавке уже один. Купец, заметив, что торговля пошла шибче прежнего, вполне доверился новому приказчику и, как малый деятельный, отправился торговать книгами по селам.

Как-то в праздничный день Рулев отправился на базар. Там он бывал часто – толковал с бурлаками, барывался с ними, затем пирировал с ними в разных харчевнях и приобрел себе много приятелей, тем легче, что большинство бурлачества были его земляки. Здесь-то, среди земляков и выходцев из разных губерний, Рулев часто подумывал о своей родине. Он не отправился теперь туда потому, что слышал много хорошего о другом крае. Прежде надо было посмотреть его.

На базаре Рулев встретил знакомого купца. Купец этот был странная личность. Высокий, крепкий, загорелый, с длинными русыми волосами, – приходил он на базар, высматривал, где борются или дерутся бурлаки, садился, полузакрывал лицо руками и задумчиво смотрел на драку; потом вставал, победителя вызывал бороться, большею частью побеждал, а затем уходил в базарную таверну: пил, бывал пьян, но всегда сидел себе молчаливо. Звали его Скрыпниковым. Рулев познакомился с ним с того, что чуть было не убил его до смерти. Дело было так: в последнее воскресенье Скрыпников по обыкновению вызывал

бурлаков бороться. Бурлаки не шли, потому что недавно сошли с барок и истомились после тяжелой работы. Скрыпников привел несколько эпитетов, которыми сердят бурлаков.

– Ты, друг любезный, на печи все лежал, а они за работой руки повыломали, – вмешался Рулев. – Со мной не хочешь ли попробовать?

– Отчего не попробовать, – ответил Скрыпников.

Боролись на поясах. Рулев перебросил купца через себя, да так, что того на руках отнесли в таверну – поотдохнуть маленько. В тот день земляки из кабака не выпускали Рулева и все дивились и толковали об его силе. Рулев почти не пил, а больше расспрашивал и слушал.

На этот раз Скрыпников опять задумчиво сидел на наваленных у забора бревнах и не то слушал, не то нет рядившихся с каким-то приказчиком бурлаков. Он дружески встретил Рулева и пожал ему руку.

– Вы меня порядочно потрянули тогда, – сказал он, задумчиво улыбаясь.

– Еще не хотите ли? – спросил Рулев,

усмехнувшись.

– Благодарю покорно, – отвечал с своей задумчивой улыбкой Скрыпников. – А познакомиться с вами рад буду. Я здешний купец, живу один – с сынишкой. Рад буду нашему знакомству, – повторил он и опять протянул Рулеву руку.

Рулев подумал: «отчего не познакомиться?» – Погода теперь жаркая, – пойдемте купаться, – сказал опять Скрыпников.

Пошли они к реке и выкупались. Потом уселись на берегу под высоким камышом, потолковали о бурлаках, покурили. По реке изредка проходили лодки; летали над ней рыболовы; в гостинице заиграл орган, и женский голос запел «Хуторочек» [1]. Скрыпников молча прослушал песню и засмотрелся на реку.

– Отчего это – в воде холодно всегда, а в ней трава растет? – спросил он наконец, не поворачиваясь к Рулеву.

Рулев объяснил ему.

– Отчего же земля под водой тепла не теряет? – спросил опять Скрыпников.

Рулев объяснил и это.

– Выходит, что чем больше вы мне рассказываете, тем больше мне спрашивать нужно, – сказал, подумав, Скрыпников и вздохнул.

Минут с десять они сидели молча. Рулев покуривал и ждал, что будет дальше.

– Как вы думаете, – спросил купец, – можно ли сделать такую деревянную рыбу, чтобы и против течения сама собой плыла и перьями водила?

– Можно, – отвечал Рулев.

– Со мной вот такая была история, – продолжал Скрыпников. – Жил здесь, видите, мужичок слепой; он машину одну выдумал. Иду я как-то, мальчишкой еще, с реки. Рыбу я любил удить. А он сидит без шапки на берегу, на лодке опрокинутой, и задумался, лицо руками закрыл. Я около него сел отдохнуть. «Откуда, говорит, молодец?» – «Рыбу, говорю, удил». – «Когда-то, говорит, и я любил. А теперь вот она, река-то, где бежит – синяя, светлая да глубокая, а я только и знаю, что шумит она да холодком с нее веет, а видеть ничего не вижу. А как ты, молодец, думаешь, – спрашивает он меня, – можно пустить такую дере-

вянную рыбу, чтобы и против течения шла, и перьями управляла, и жабрами водила?» Я молчу. А он поворотил прямо ко мне лицо, задумчивый такой. «Можно, говорит, можно», и опять призадумался, лицо руками закрыл... С тех вот пор думал я, думал о рыбе той, о пароходах и машинах разных: то одно начну чертить да строгать, то другое, а толку нет. Толку нет, да и от мысли нет отбоя, – и во сне машины снятся.

– Вам бы надо механике учиться, – заметил задумчиво Рулев.

– Где тут учиться, – горько возразил Скрыпников. – Драться тут, или водку пить, или учиться, – что-нибудь одно. Да где и учителей-то взять?

– Книги вам надо выписать и самим учиться...

– Что за книги? – спросил Скрыпников.
Рулев сказал ему.

– Пойдемте ко мне, – сказал потом Скрыпников, вставая. Рулев согласился, и они пошли по улице.

– Вы здесь чем занимаетесь? – спросил дорогой Скрыпников.

Рулев объяснил свое положение, и Скрыпников точно обрадовался.

– Хотите вы поселиться у меня и сына моего воспитывать? – спросил он вдруг, остановившись посреди улицы. – Со мной вы, наверное, сойдетесь, а сынишко у меня умный мальчуган.

– Для меня учителем лучше быть, чем приказчиком, – просто ответил Рулев.

Тут же и уговорились.

Скрыпников принадлежал к числу механиков-самородков и так много придумывал разных машин, до того путался в разных подробностях своих фантастических изобретений, что едва не сошел с ума. Одна и та же бесплодно повторяющаяся мысль, от которой нельзя было освободиться, привести в исполнение которую не хватало сил, должна была производить мучительное состояние. Это положение должно было или кончиться сумасшествием, или вызвать противодействие в других человеческих силах: вызвать Скрыпникова на всякие безалаберные действия, с целью забыться от этой мысли, избавиться от одностороннего, болезненного напряжения

мозга. Пока случилось только последнее. Рулев рассчитал, что как только Скрыпников обратится к правильному занятию механикой, вся эта безалаберщина должна прекратиться. Так оно и случилось. Скрыпников не боролся больше с бурлаками и не раздумывал в кабачках о своей деревянной рыбе, а изучал математику и механику.

Рулев немедленно сдал все книжные дела хозяину, а сам переселился к купцу и занялся его сыном.

Следующей весной Рулев был уже уездным учителем в том крае, который находил нужным посмотреть поближе. Он по прежнему был здоров; в свободное время бродил, ездил верхом, читал, хотя уже только относящиеся до его дела книги, но он сделался больше решителен, даже резок, и еще больше угрюм. Он видел уже слишком много страдавший человека, зла всякого, погибавших людей, и мысль о деле уже совершенно овладела им. Он пробыл на этом месте целый год, узнал все, что ему нужно было для его расчетов, и переехал в другую часть этого края. Прежняя часть была богата табунами лошадей, а эта разными племенами человеческими; но люди только пакостили землю, и ужиться с ними Рулев не мог. В это время я встретил его во второй раз; в первый же я видел его тогда, когда он только что вышел из школы. Он ходил в своей комнате взад и вперед; на столе лежали географические карты и груда набросанных на всяких лоскутках заметок о крае. Рулев сильно похудел после на-

шей первой встречи; глаза сделались больше, между бровями образовались складки; говорил он тише и резче. Я просидел у него часов до трех ночи, так завлекательны были его разговоры. Относительно его резкости и ума я приведу только один случай. С ним желал познакомиться один молодой господин, замечательный не только физической силой и здоровьем, но и не глупый. При первом же свиданье Рулев обратился к нему с следующим вопросом:

– До сих пор вы умели только собак гонять – что же намерены делать теперь?

Начатое таким образом знакомство кончилось тем, что при отъезде Рулева молодой господин непременно хотел ехать за ним всюду, хоть на край света, но Рулев урезонил его остаться. В другой части края Рулев пробыл еще дольше, потому что она прилегала к его родине, да и люди встречались здесь чаще. А хорошие люди были Рулеву нужны.

Здесь же он сошелся с дельной и красивой женщиной. Она была жена лекаря. Лекарь этот когда-то учился кое-чему, знал что-то, но теперь занимался только картами и амурами.

Жена его, Катерина Сергеевна, жила как и все прочие женщины, но, кроме того, много думала, много читала и воспитывала дочь как умная и дельная мать. Ей было двадцать два года; силы ее, не ослабевшие в непробудной апатии русской женщины, неизбежно требовали деятельности, а деятельности, способной занять ее вполне, у ней не было. В такой женщине муж, подобный ее несовершеннолетнему относительно мозга и сгнившему физически мужу, мог возбуждать только презрение. Рулева она увидела как первого человека, стоявшего неизмеримо выше всех ее знакомых. Рулев полюбил в свободные минуты, ради отдыха, видаться с ней; сошелся с ней, рассказал свою прошлую жизнь и планы. Не мудрено было, что она полюбила его. Полюбил ее и Рулев, как может полюбить молодой, здоровый и честный мужчина молодую и дельную женщину; часто они проводили с глазу на глаз длинные зимние вечера, но ни одно слишком смелое предложение не вырвалось у Рулева. «Замужем и живет с мужем – какого же черта мне тут мешаться?..» – думал он.

Рулев заканчивал свои дела, по обыкновению, спокойно, – только сделался еще резче и решительнее...

Прошло три дня. Рулев, проходя по улице, узнал, что Катерина Сергеевна лежит в страшной горячке... Как был он на улице в фуражке, плаще и с палкой, так и вошел к себе на квартиру и долго в том же костюме ходил взад и вперед по комнате.

– Факт, – порешил он наконец. – Факт совершившийся, и толковать тут нечего.

Затем он запер квартиру и уехал из города к знакомому мужичку, звавшему его к себе по делу.

У Катерины Сергеевны не произошло дома никакой потрясающей драмы. Когда она возвратилась после прогулки с Рулевым, ее мужа не было дома, – он уехал в уезд на следствие. Молодая женщина целую ночь просидела на своей кровати и не могла заснуть. То вставала она и ходила по комнате, то опять садилась. Что происходило в ней? Жизнь ее изменилась слишком неожиданно, потому что она почувствовала искреннюю привязанность к Рулеву. Расстаться с ним она не находила в

себе сил, а чтобы бросить мужа, надо было выйти на борьбу со всеми окружающими ее, – и ум ее работал с страшным напряжением, кровь обращалась необыкновенно быстро, – а руки дрожали. За ненормальной деятельностью организма должно было последовать его расстройство – оно последовало.

Когда Рулев вернулся, он узнал, что Катерина Сергеевна умерла. Рулев сильно побледнел с этих пор, и с небывалой еще силой вспыхнула в нем непримиримая злоба. Ему чувствовалось, что точно вдвое труднее стало для него с этой минуты задуманное дело.

В это время пришел к нему земляк, рабочий с горного завода, только что воротившийся с родины. Он принес письмо от приятеля Рулева и сообщил несколько историй, разыгравшихся в последнее время на их родине. Приятель Рулева звал его на родину и на первый раз предлагал место комиссионера винокуренного завода. Истории были возмутительны для каждого, еще не совсем забитого человека.

Рулев на другой же день уехал.

IV

Как-то вечером Никита Никитич Рулев, Котец нашего героя, заложив руки за спину, ходил по комнате своего домика. Ему было за семьдесят лет, но он все еще ходил выпрямившись во весь свой огромный рост; широкие плечи его все еще держались прямо и ровно. Он вечно ходил в картузе, сберегавшем от сырости и ветра его седую голову, раненную под Лейпцигом пулей. С ним живет старший сын его, Андрей Никитич, — господин просто-напросто хилый. Он любимец старого капитана, потому, во-первых, что и теперь остается прежним бессильным ребенком, требующим поддержки, а во-вторых, потому, что напоминает старику его первую жену. При ее жизни старый капитан был еще здоров и крепок, как и в двадцать лет, и из всей его бродячей солдатской жизни только годы, проведенные с первой женой, вызывали в нем какое-то, как будто нежное, чувство. В детстве Андрей Никитич был веселым и здоровым ребенком, являлись в нем вопросы насчет непонятных вещей: отчего гром гре-

мит? отчего радуга? отчего камень тонет, а дерево нет? почему ночью горят звезды, а днем нет? Но от этих вопросов родители отделивались как умели – конечно, ничего не объясняя ребенку. В большинстве случаев они отвечали ему, что «так богу угодно». Скоро Андрей Никитич и спрашивать перестал, потому что сам научился прилагать это решение ко всем поднимающимся вопросам. Конечно, пока не надломились и не сгнили его органы, внешний мир не потерял над ним своего влияния: он с наслаждением слушал шум деревьев, с наслаждением смотрел ночью на звезды; приятно было ему ранним утром выйти из душной комнаты в сад и дышать чистым воздухом; но внешний мир всегда казался ему чем-то совсем для него посторонним, совсем не относящимся до него, и сам он, Андрей Никитич, воображал себя среди цветов, звезд, воздуха и деревьев каким-то посторонним зрителем. А люди? Люди в детстве Андрея Никитича, конечно, не казались ему посторонними. Отец рассказывал ему сказки, рассказывал о своих сражениях, ласкал его – он и любил отца. Детей, с которыми

он играл, в радости и печали которых он принимал участие, он тоже считал своими близкими, – любил. Он бегал, играл, даже несколько раз сходил с младшим братом на реку, но дружба братьев кончилась тем, что за какую-то барскую выходку старшего брата Рулев младший поколотил его.

Потом пошла школьная жизнь. Рулев старший, как и брат его, на школьную науку рукой махнул, но сам по себе учиться не умел, да к тому же начал болеть и в конце концов вынес из школы только несколько неосмысленных фраз да испорченное ранним разворотом здоровье. Для мускульной работы в нем не хватало силенки, да и грудь болела – значит, всякое дело было для Андрея Никитича мученьем; и стал теперь для него весь мир совершенно посторонним, до него не относящимся. Иногда, в какой-нибудь вечер, когда у него заболит грудь сильнее, – сидит он в саду, слушает крик птиц и шелест листьев, пьет молоко, – иногда в такой вечер чувствуется ему, что к физической боли у него присоединяется еще глубокая тоска. От болезни ли эта тоска, от того ли, что полуживой организм

требовал еще какой-то деятельности, – не знаю; только Рулеву старшему бывало иногда невыносимо тяжело и больно, как умирающему в свежее летнее утро.

Живет он потому, что живется, – ноги ходят еще, руки действуют; умирать станет – конечно, пожалеет о жизни; но чего ему в ней жаль и чем он наслаждаться станет, если выздоровеет, – не сумеет сказать. Сделает он, пожалуй, доброе дело, если его вытащат на это доброе дело, и даже оно доставит ему удовольствие; но искать возможности подать возможно большую помощь людям, которым он мог бы сочувствовать, – он не в состоянии.

Старый капитан за это спокойствие и любит его, – и живут они мирно. Сын бродит по саду, почитывает книги, так как необходимо же какое-нибудь занятие; а старик марширует в своем картузе по комнатам, вспоминает старые походы, насвистывает боевые марши да иногда разве велит запрячь лошадь и едет на базар или кататься в поле. Так и теперь ходит он по комнатам, вовсе не думая о младшем сыне.

А Рулев младший уже пришел на широкий

двор, взглянул кругом и вошел в комнату. Старик неожиданно остановился и сдвинул немного брови.

– Ты, Степан? – спросил он наконец, и голос его как будто дрогнул.

– Я, – отвечал Рулев младший, смотря на отца. Старик опустил голову, помолчал и опять взглянул на сына.

– С братом, видно, пришел повидаться? – спросил он твердо и сурово.

– С братом, – холодно сказал сын.

– Наверху, – отрывисто ответил старый капитан, показав головой на потолок, и опять зашагал, ступая тяжелее и медленнее обыкновенного. Рулев пошел наверх. На лице его не изменилась ни одна черта. Старик посмотрел ему вслед, угрюмо зашевелил губами и, понурив голову, остановился посреди комнаты.

«Приехал, – думал он, – приехал. Все тот же», – повторял он про себя с какой-то злобой и медленно замаршировал по комнате.

Наверху, в крошечной комнате без окон, сидела на полу, перед выдвинутым из-под кровати сундуком, девушка лет шестнадцати. Это было странное существо. Черное старенькое платье, плотно обхватывавшее ее гибкую талию, смуглое лицо, полузакрытое худенькими пальцами, большие глаза, смотревшие на все необыкновенно спокойно и кротко, – вот ее портрет. Это была странная девушка. Она сидела на полу и задумчиво смотрела на крышку сундука, оклеенную картинками. На этих картинках были танцовщицы с лентами в руках, охотники в шляпах с перьями, попугаи, турки в чалмах, обезьяны, олени – всё существа, которых этой девушке никогда не случалось видеть. В полурастворенную дверь из соседней комнаты пробирались лучи заходящего солнца и светлой полосой падали на блестящие черные глаза девушки и общество, собравшееся на крышке сундука. Странная девушка рассматривала картинки и тихо пела грустную песенку, напоминавшую тихий плач покинутого ребенка. Потом она встала,

задвинула сундук и вышла в соседнюю комнату. Здесь у окна сидела другая молодая девушка и шила какое-то богатое платье. Эта девушка была очень красива; только во взгляде ее, в выражении бледного лица и во всех ее движениях было что-то усталое, точно после бессонных ночей и тяжелой работы. Ходит ли она по комнате – ходит тихо, задумчиво; сядет мимоходом на окно, сложит на коленях руки, долго, опустив голову, смотрит на эти бледные, усталые руки и опять тихо встанет, – начнет ходить.

Странная девушка тоже села за работу.

– Ты не устала сегодня, Плакса? – спросила ее подруга.

– Нет, Саша, – отвечала странная девушка. – Я люблю работать и думать о чем-нибудь...

Саша облокотилась на окно и долго смотрела в сад.

– Скучно, Плакса, работать и думать, – сказала она: – чем больше думаешь, тем горше станет. Горько работать в такое время.

Время было хорошее. В саду было свежо и прохладно; в аллеях белели сирени, много

виднелось цветов; кричали птицы, а вдали солнце ложилось за рекой, и блестящая река точно звала освежить в ней усталое тело, плыть в ее светлых волнах, пока кровь не потечет быстрее в одеревеневших от утомления членах. После сидячей работы в жаркой комнате неудержимо тянуло на вольный, здоровый воздух; молодые силы просили движения.

– До смерти скучно думать, – повторила Саша, опять принимаясь за шитье. – Тебе не хотелось бы иногда умереть, Плакса?..

– Нет... не знаю, сестрица... Я видела, как умерла богатая барыня. В церкви было так чудесно – светило сверху солнце, пахло ладаном, пели так тихо и печально... Ах, сестрица, как это хорошо и печально пели, и как мне плакать хотелось от этого пения... Нет, я не хочу умереть.

– А я так хотела бы умереть, – сказала Саша.

– Нет, сестра, пожалуйста, не думай об этом, – заговорила Плакса, подняв от работы голову и с умоляющим видом смотря на Сашу. – Мне без тебя скучно будет; я все стану

вспоминать, какая ты была красавица и добрая, и мне очень тяжело будет.

Вошел Рулев младший, поклонился и быстро оглянул комнату. Плакса сделала ему уродливый книксен.

– Мне сказали, что Андрей Никитич здесь, – спокойно сказал молодой человек.

– Он на балконе, – ответила ему одна из девушек.

С балкона вышел и сам Андрей Никитич, бледный молодой господин с ненормально блестящим взглядом.

– Брат! – сказал он, смутившись, и точно будто ожил и выпрямился, смотря на сильную и здоровую фигуру младшего брата.

– Здравствуй, – тихо сказал Рулев младший, крепко сжимая своей загорелой рукой худую руку брата.

– Совсем приехал сюда? – спрашивал Андрей Никитич.

– Не думаю.

– С отцом виделся и говорил?

– Говорил.

– Что же? как?

– Да он, как видно, ничего не имеет мне

сказать – я ему тоже, – спокойно и не понижая голоса, ответил Рулев младший. Старший брат хотел было задуматься, но Рулев опять заговорил:

– Мы, кажется, в чужой квартире, – напомнил он.

– Нет, это свои, – ответил Андрей Никитич и рекомендовал его швеям.

– Видно, вы в магазин работаете? – спросил гость, взглянув на богатое шитье.

– В магазин, – ответила Саша, оставив работу.

– Плата, значит, должна быть не очень хорошая.

– Жить теперь можно, – тихо ответила Саша.

– Теперь только разве?

– Иногда бывает трудно: работа надоедает до того, что шить не хочется, – также тихо пояснила Саша и опять принялась за работу.

– Перестань, пожалуйста, сестрица, – перебила ее Плакса, – зачем умирать?

– А вам, Плакса, такие мысли разве не приходят в голову? – спросил Андрей Никитич.

– Нет, – сказала она. – Я люблю работать и

думать, обо всем думать.

– Зачем же вас зовут Плаксой? – ласково спросил младший брат, смотря своим светлым взглядом на странную девушку.

Плакса подняла на него свои спокойные большие глаза и улыбнулась.

– Меня прежде звали Евпраксой, а одна сердитая женщина стала звать меня Плаксой, и с тех пор все так зовут, – сказала она, облокотившись на стол своей худенькой ручкой и спокойно смотря на загорелое лицо молодого человека.

– Какая же это сердитая женщина? – спросил опять Рулев младший.

– Моя прежняя хозяйка. Да, она была очень сердитая женщина, – задумчиво продолжала странная девушка. – Она все сидела в больших креслах, а муж ее все шил и шил. Я была тогда еще маленькая, и она заставляла меня нянчить ее детей и рассказывать им сказки и петь песни. Я никогда не слыхала сказок, и она заставляла меня выдумывать свои. А когда я пела, она смеялась и говорила, что я плачу. Мне было очень нехорошо у ней. Я спала там в уголке под лавками, на старых мешках,

и всегда долго не могла заснуть – все думала, какие я завтра стану рассказывать сказки и петь песни.

– И вам никто не помогал там?

– Меня, кажется, любил муж хозяйкин. Он был худой такой, старый, с козырьком на глазах и все шил и кашлял. Хозяйка каждый день бранила его, и он ее очень боялся. Когда утром звонили колокола и хозяйка уходила в церковь (она часто ходила в церковь), он дарил мне картинки и учил петь песни, чтобы я не плакала, когда меня заставят петь.

– И вы его любили?

– Очень. Мне без него было бы нехорошо. Я потом все шила, все шила; все шила – и утром, когда еще было темно и холодно, и ночью, когда уж везде тушили огни и когда я уставала и у меня слипались глаза. – Он тихонько подмигивал мне и улыбался. Я берегу его картинки и часто вспоминаю о нем, когда смотрю на них. Иногда, когда я ложусь после работы спать и глаза у меня так и слипаются, кажется мне, что картинки мои начинают двигаться... Потом приходит муж хозяйкин, седой и печальный, и что-то такое долго-дол-

го говорит и ходит перед картинками... Право! – закончила Плакса, задумчиво смотря на молодого человека.

– Бывает, – произнес Рулев младший. – До свиданья однако ж, – сказал он, подумав, – мы мешаем вам работать, да и с братом мы давно не видались...

VI

Братья сошли вниз.

– Пойдем в сад, – сказал Андрей Никитич.

Они пошли по саду между высокими зеленеющими деревьями. Андрей Никитич уронил книгу, устало нагнулся за ней и так же устало выпрямился. Гибкому и крепкому во всяком движении младшему брату эта изнеможенность сильно бросилась в глаза.

– Ты болен? – спросил он, взглянув на брата.

– Болен, грудь болит, – отвечал старший брат и точно обрадовался своей болезни. Ему было как-то совестно перед братом.

– Какого рода болезнь? – спросил Рулев, взяв его за руку.

– Просто болит грудь, ходить скоро не могу, кашель, а иногда и сижусь, а в груди точно нож двигается...

– Какие средства употребляешь?

– Да никаких.

– Хоть с доктором порядочным говорил ли? – спросил Рулев, пристально посмотрев в

лицо брата.

– Не верю я им, – ответил старший брат, снимая фуражку и проводя рукой по лбу.

– Чтобы не верить, надо самому дело знать, – проговорил Степан Никитич и крепче сжал руку брата. Рука была очень горячая и сухая. – Что за охота умирать? – прибавил он тихо.

– Что за охота жить... Жизнь, небезосновательно говорят, есть глупая шутка [2] .

– Врешь, брат... Дня три не поешь, так и это вот с аппетитом съешь, – угрюмо ответил Рулев, сбрасывая вспрыгнувшего на сюртук кузнечика.

– Что же?

– То, что эти слова есть рифмованная фраза... – холодно сказал Рулев, ложась на траву. – Живешь – значит, жизнь еще привязывает тебя; привязывает она тебя, следовательно, в тебе есть еще здоровые силы; а чтобы и они не пропали, – надо работать.

– Над чем работать?

– Не знаю. Счастье, по-моему, заключается в том, чтобы здоровым силам дать подходящую деятельность... Дальше уж твое дело.

Андрей Никитич молчал.

– Здоровому человеку всегда хочется жить, – продолжал младший брат. – Никаких неземных радостей не надо. Онемели мускулы – есть наслаждение работать; устали они – и в отдыхе наслаждение. Душно человеку, не пускают его на свежий воздух, сковали его – ну, и опять тебе величайшее наслаждение вырваться-таки на волю, а не пришлось, – так за этой работой и умереть, а не складывать руки...

– Какое же тут наслаждение? – тихо проговорил старший брат.

– Ты его теперь, конечно, не поймешь, – нехотя ответил ему младший и замолчал.

Над ними покачивались ветви деревьев и шелестели листьями; в кустах кричали птицы; кругом разносился запах растений. Рулева младшего неудержимо звала вперед задуманная им работа. Звали его эти леса с их пустынными тропинками и с отшельническими скитами в глуши их; звали небогатые растительностью северные поля, перерезанные холмами, болотами и борами, с редкими, но многолюдными селами и деревнями. Будет

он ранним утром поить в лесных ключах лошадей, переплывать с лошастью пустынные светлые реки, пробираться в глушь лесов, заночевывать в лесу и в поле; много придется увидеть страданий и горя в этих широко разбросанных деревнях и селах.

– Ты где жил после выхода из школы? – спросил Андрей Никитич.

– Во многих местах живал. Цыганом больше шлялся. А последние годы в одном городишке около самой Сибири учительствовал – край хороший, хороший, – повторил задумчиво Рулев. – Только лучше бы там волки или медведи жили, а то люди только землю пакосят да небо копят.

– Чего ж ты ищешь?

– Тебе-то, брат, что же в этом? – спросил Рулев, прилегая на локте и задумчиво смотря на брата. – Хорошее ли, дурное ли стану я дело делать, выслушаешь ты, да и скажешь потом, что грудь у тебя болит, что умирать тебе время. Одно любопытство, значит?

– Конечно, любопытно знать, чем и как ты живешь?

– Я тут комиссионером винокуренного за-

вода.

– А учительство?

– Учительство бросил.

Андрей Никитич перестал спрашивать. Младший брат посмотрел на него, подумал и продолжал:

– Бросил учительство потому, что задумал одно важное предприятие. Нужно время... Через год, через полтора, может быть, опять уеду...

– И все-то бродяжничество?

– Все-то бродяжничество, – повторил младший брат, бросил недокуренную папироску и лег на траву.

Андрею Никитичу сильнее и сильнее сказывалось его бессилие; чувствовалось ему, что он неизмеримо ниже брата. Затем у него явилась мысль, что не зависит же он от младшего брата и не связан с ним ничем, и вдруг ему захотелось показать перед братом и свою собственную силу.

– Ты, кажется, хочешь найти во мне участника в твоём предприятии? – спросил он твердо и решительно.

– Попробую, – сказал Рулев младший и

улыбнулся.

– Нет... Мне хорошо и так живется. За твое дело я не примусь, – ответил Андрей Никитич и встал.

– Как знаешь.

Они встали и опять пошли. В углу сада застучала лопата, перерезывая в земле корни и скребя о камень.

– Ты с отцом как же намерен? – тихо спросил Андрей Никитич, поглядывая ссыска на брата.

– Мне с ним дело, что ли, какое делать придется? – спокойно спросил тот.

– Неловко как-то...

– По мне ничего, ловко, – холодно заметил Рулев младший, поглаживая свою бороду.

Андрей Никитич смолчал.

– Мне нужно тебе еще одну вещь передать, – сказал он потом и, удалившись в свою комнату, вынес оттуда портфель, принадлежавший Лизавете Николаевне, и передал его брату. Тот крепко пожал ему за это руку и ушел, не сказав больше ни слова.

Андрей Никитич все еще стоял у дерева, по временам вытирая свой горячий, бледный

лоб и ломая пальцы. Все-таки он сам себе казался как-то жалок и бессилён, и в нём вдруг поднялась злоба на всю его бесплодно прожитую жизнь.

Старый капитан в широких штанах и фуфайке проходил мимо с лопатой и граблями.

– Денег просил? – спросил он мимоходом.

– Нет, – отрывисто ответил сын.

Старик посмотрел на него через плечо и пошел дальше, шевеля что-то губами.

VII

Расставшись с братом, Степан Рулев пошел прямо к себе на квартиру. Ночь наступала тихая и теплая; показывались звезды. Рулев зажег свечу, раскрыл окно, снял сюртук и лег на диван. Тихо веял ему в лицо ночной ветерок и шевелил его волосы; усталость овладевала Рулевым, но долго еще сидел он в этот вечер, и сидел, ничего не делая. Он думал о матери. Сегодня он приехал на родину, увидел с детства знакомые места, старый дом, в котором прошло его детство, – и сцены из детских годов одна за другой возникали в его голове. Здесь, на родине, всякий знакомый предмет напоминал ему былую жизнь, и работа его как будто забылась на время, – значит, нужен был организму отдых. Рулев отдыхал. Вспоминалась ему тихая семейная жизнь в его детстве. С отцом теперь он не мог сойтись, брат оказался живым мертвецом, и все мысли Рулева обратились к матери. Один за другим вспоминались ему детские годы, и везде мать его являлась всегда или другом, или учителем, или сестрой – всегда нежной и

печальной.

Рулев взял портфель и прежде всего нашел старую, с пожелтевшими строками рукопись. «О человеческих отношениях» – прочитал он на обертке и задумчиво пересмотрел все страницы. Затем Рулев вынул из портфеля портрет матери, положил его на стол, придвинул к портрету свечу и долго, подперев руками голову, смотрел на это худое, печальное, но красивое и умное лицо.

«Чем я обязан ей в моем развитии?» – мелькнула в нем мысль. Он опять задумался над портретом, и опять детство его проходило перед ним.

«Бесполезнее и эгоистичные вычисления, – порешил он наконец. – Женщина была хорошая, искренно желала мне добра и делала, что могла... Любила меня сильно и много страдала...» – Он встал и начал медленно ходить по комнате.

«Для чего она, такая слабая и нежная, мучилась в этой грязной жизни? Что ей тут было сладкого? – думал он с глубокой тоской. – Неужели для меня только?» – спросил он сам себя, и точно проснулась в нем какая-то

грустная нежность.

В портфеле лежала еще записка. Рулев прочитал и ее.

«Лизавета Николаевна, – было в ней написано, – вы меня ни разу не навещали, и я ни разу не просил вас навестить меня, пока я имел возможность двигаться. Теперь едва ли доживу до завтра. Возьмите кого-нибудь с собой и приходите проститься. Одни не ходите. Я, в противном случае, не умру спокойно».

Рулев прочитал еще раз, прочитал другой, подумал об отце и опять взглянул на записку. «Прочесть сумеет ли, не знаю, а не поймет наверно», – подумал он со вздохом и опять начал ходить. И долго думал он об этой симпатичной, деликатной личности учителя, о судьбе его, о его мыслях и верованиях; думал о людях, среди которых действовала эта личность. – Дальше вспомнил он и Катерину Сергеевну, и уж не нежность и не грусть вызвали в нем мысли об этих обеих личностях. Он ступал тяжелее, губы его сжимались. Мысли сами собою перенеслись к задуманному делу.

VIII

По делам завода Рулеву надо было увидеться с управляющим бумажной фабрики. По этому обстоятельству он сошелся с Вальтером.

В обширной кладовой, где на полках была навалена разных сортов бумага, где стояли сундуки, шкафы, у стола сидел высокий молодой человек, носивший бороду, заплатанные сапоги и довольно потертое платье. Он выдавал жалованье фабричным рабочим, конторщикам и приказчикам. Это и был Вальтер. Когда пришел Рулев, Вальтер покурил сигару и отсчитывал деньги поодиночке входившим в кладовую рабочим.

– Что вам угодно? – спросил он, приподнимаясь при входе Рулева.

– Я имею поручение переговорить с вами, – сказал Рулев. – Мне кажется, вам лучше кончить ваше занятие, и тогда уже я передам вам мое поручение.

– Как знаете, – заметил Вальтер и опять сел к столу.

Рабочие один за другим приходили и ухо-

дили. Вальтер молча отдавал деньги, предлагал книгу, где получивший расписывался или ставил кресты, и, покуривая, ожидал следующего. Пришел, наконец, какой-то бледный и оборванный юноша.

– Четверг и пятницу не работал? – спросил Вальтер.

– Болен был, – отвечал рабочий.

– Знаю. По шестнадцать копеек за день – за два дня тридцать две копейки – остается получить четыре рубля шестьдесят восемь копеек.

Рабочий закашлялся.

– В этом ты и домой пойдешь? – тихо и угрюмо спросил Вальтер, взглянув на изорванную рубашку рабочего.

– В этом, – отвечал тот.

– Недолго проработаешь, – заметил управляющий. – Не умеешь жить, – продолжал он тихо. – Вас, рабочих, здесь тридцать человек... Следует держать одну квартиру и иметь общие харчи, а деньги держать в артели; тогда и пропьешь немного, да и на одежду останется.

Рабочий молчал.

Вальтер отдал ему деньги и встал.

– Здоровье у тебя плохое, – тихо продолжал он: – пить, я знаю, не бросишь, – значит, не сегодня, так завтра можешь в самом деле сильно заболеть... Что тогда будет? – спросил он, становясь лицом к лицу перед рабочим.

– Ничего не поделаешь, – угрюмо отвечал рабочий.

– А вот посмотрим, – сказал Вальтер, запирая кассу. – Завтра я переговорю с другими... Совет, разумеется, советом, а там уж делайте, как сами знаете...

Затем Вальтер обратился к Рулеву.

– Фамилия ваша мне положительно знакома, – сказал он, когда Рулев передал ему все, что нужно было: – да и лицо кажется знакомым. Где вы были лет... восемь назад?..

Рулев назвал школу.

– Я был в тех местах, – сказал Вальтер задумчиво... – и там должен был вас видеть.

Вальтер предложил Рулеву курить и заговорил о школе, в которой был Рулев. Оказалось, что и он был в этой же самой школе. Оттуда его выгнали в кантонисты; из кантонистов Вальтер бежал, как необыкновенно гиб-

кий и ловкий юноша попал в труппу вольтижеров, ехавших в Валахию, и через несколько лет вернулся в Россию Вальтером и немцем, хотя был такой же русский, как Рулев или Скрыпников. Разговор незаметно перешел в минорный тон.

О прошедших молодых годах мы вспоминаем с тоской потому, мне кажется, что в те годы были свежие силы, иные стремления и планы, большею частью не осуществившиеся потом, и нам жаль становится сил и времени, растроченных большею частью даром. Вальтеру же, кроме того, вспомнилось много нравственной и физической ломки... Затем Рулев заговорил о рабочих. Вальтер знал их так же хорошо, как если бы с детства жил с ними вместе. Злость и горечь так и слышались в каждом его слове...

– Горько жить с этим народом... Злость берет, – повторял он несколько раз.

Рулев не переставал спрашивать, а Вальтер делался все разговорчивее.

– Послушайте, – сказал он наконец, остановившись перед Рулевым... – Если вы не заняты и интересуетесь здешним рабочим наро-

дом – пойдёмте ко мне...

– Пойдёмте, – сказал Рулев.

IX

Они пошли вдоль берега реки. Небо закрыли грязные тучи; над рекой стоял тяжелый, наводящий тоску туман; в тумане медленно двигались по реке барки и точно за запотевшим стеклом мелькали на них огни, разведенные для ужина. На толстых бревнах, лежавших у берега реки, спал мальчик, известный между уличными ребятишками под именем Миши-щепочника. Между бревнами щели, и в них блестит вода и плавится рыба; бревна густо охватило туманом и сыростью, а мальчик спрятал свое лицо в картуз и спит — не слышит ни сырости, ни дождя. И видит он во сне, что по плечам у него машут длинные, легкие крылья; тихий ветерок и веянье воздуха от быстрого полета охватывают его тело прохладой. Видит Миша, что он летит высоко над землей — над реками, зелеными лесами, озерами и полями. Видит он внизу светлую реку, извивающуюся между зеленых лугов, поросшую камышом, окруженную зеленою, сочною травой поемных лугов; но лучше всего Мише то, что над этой рекой ему сво-

бодно и легко дышится, так хорошо и свободно, как никогда не дышалось во всю его коротенькую жизнь.

Миша просыпается и, охватив колени руками, садится на бревна. Грудь у него болит, рубашка промокла, а кашель так и мучит его худенькую грудь. А воздух становится все сырее, в тумане всюду зажигаются красноватые огни; у мальчика сильно болит грудь, и с тоской он опять прилегает к бревнам. В это время перед ним останавливаются мимоходом наши друзья: Вальтер и Рулев.

– Отчего ты не идешь домой? – спрашивает Вальтер.

– Куда мне идти домой? – в свою очередь спрашивает Миша.

– Где твой отец?

– Не знаю...

– А мать?

– И матери не знаю, – отвечает равнодушно Миша – и в самом деле не знает.

– У кого ты живешь? – спрашивает ласково Вальтер.

– Жил я у дедушки-рыбака; потом жил у дедушки-нищего. Только дедушка-рыбак умер,

а дедушку-нищего взяли в тюрьму. Не у кого мне и жить теперь, – равнодушно прибавляет Миша.

– Пойдем со мной, – говорит ему ласково Вальтер.

Миша оставляет свое неприглядное помещение и плетется за Вальтером и Рулевым, скорчившись всеми своими худенькими членами. Вальтер и Рулев идут быстро, разговаривая о рабочих и их детях, о мещанах и крестьянах. Моросит дождь, а кашель терзает впалую грудь Миши.

– У тебя грудь болит? – спрашивает Рулев, беря его за грудь.

– Грудь болит, – отвечает Миша.

Наконец пришли в квартиру Вальтера. Вальтер зажигает свечу.

– Устал? – спрашивает он.

– Устал, – отвечает Миша.

– Разденься и надень вот это, – говорит опять Вальтер, подавая ему теплый полушубок. – Если ты не наденешь сухое платье, ты, может быть, простудишься и заболеешь. Видишь, твоя рубашка так и льнет к телу.

– Я и так болен, – говорит мальчик.

– Заболеешь больше.

– И умру?

– Может быть, и умрешь...

Мальчик улыбается. Он начинает думать, что давно знал Вальтера и даже давно любил его.

– Тебе не хорошо жить?

– Не хорошо, не хорошо... Грудь болит, сыро, холодно, – бормочет Миша и опускает голову, точно слушая, что у него в сердце делается.

– Ну, давай пить чай, – согреешься.

– Давай.

Миша уселся перед столом, облокотился на него, положил щеку на ладонь и пристально смотрит на Вальтера. Лицо мальчика бледно, руки тоненькие, худые, грудь вогнута.

– Зачем ты привел меня сюда? – спрашивает он потом.

– Затем, что мне тебя жаль, – отвечает Вальтер.

– Жаль, что я маленький, грудь у меня болит и негде мне жить? – спрашивает мальчик.

– Да.

– Ты, верно, добрый?

– Нет, я злой... Мне все равно – будешь ли ты у меня или нет, а тебе от этого лучше...

– Тебе все одно?

– Все одно.

Мальчик жадно пьет горячий ароматный чай, и щеки у него вспыхнули румянцем, глаза засветились. Рулев и Вальтер говорят что-то на непонятном ему языке, и говорят как братья: лица у обоих светлые, добрые и открытые; иногда только у Вальтера брови сдвигаются. Рулев, напротив, все спокойный и серьезный, скажет несколько слов и опять задумается. Мише сильно хотелось бы знать, о чем они говорят, но не понять никогда ему этих речей.

Долго он прислушивался к разговору приятелей, но потом ему скучно стало. От нечего делать он стал переглядывать книги, лежащие на столе Вальтера.

Рулев приподнял голову и посмотрел на него с улыбкой. Скоро после этого он встал и простился с Вальтером.

– Пожалуйста, навещайте меня, – сказал Вальтер и крепко пожал ему руку.

– Непременно, – ответил Рулев: – надеюсь, мы будем знакомы хорошо.

Х

Покончив свои дела по комиссионерству, Рулев уехал на несколько дней из города. Ему, как я говорил, надо было узнать этот край.

Скоро он нашел некоторых знакомых бурлаков, а через них пошли и новые знакомства. Рулев узнавал количество земли обрабатываемой и лежащей под болотами и лесами, то есть считавшейся негодной; узнавал народ, степень его богатства, количество школ, грамотных, принимал к сведению все, что только выходило из обыкновенного уровня; а здесь, среди лесов и болот, чудачествующего и эксцентричного люда было пропасть. Встречал он стариков, спрашивавших: как бы господь привел им пострадать за веру; встречал бледных и угрюмых пахарей-мыслителей, развивавших странные мирозерцания; встречал философов, ждавших: скоро ли позволят на площадях, на базарах или где хочешь поучать вере, какой давно душа просит. Народ этот был угрюмый, потому что вырос среди непроходимых лесов, страшных болот,

под суровым небом и на бедной земле. Переработать землю не было пока средств и знания, поэтому народ был бродячий, а отсюда развитый и промышленный. Выработал он под влиянием внешней природы особое мировоззрение и характер, не поддающийся никаким внушениям. Сильно прижимали, – так этот люд или в леса шел спасаться, или сгинул целыми семьями. Рулев очень интересовался этим краем...

Но я нахожу неуместным, да и мало интересным для читателя следить за его путешествиями по всяким пустыням и ограничусь только отношениями Рулева к семье, к тем людям, которых он считал порядочными, и к тем, на которых он смотрел как на дрянь или самодуров. Расскажу, как он отнесся к красивой, умной и доброй девушке, полюбившей его, но которую он не любил. В конце концов, может быть, почувствуется, что все эти столкновения с разными, являющимися здесь, людьми – в жизни Рулева – дело второстепенное; главное же есть его предприятие, а на него только намекается. Но я не думал писать роман или повесть с разными затруднитель-

ными положениями и коллизиями, а просто пишу очерк развития Рулева. Его взгляд на жизнь я рассказал, а за этим не трудно определить и деятельность Рулева. Говорить же подробно об этой деятельности, повторяю, нахожу неуместным.

Что такое был брат его и Вальтер, и как они взглянули на Рулева?

Брат его, как я уже показал, был человек немощный и взглянул на Рулева младшего с неприязнью, потому что сразу почувствовал себя неизмеримо ниже и слабее брата; чувствовал, что должен возбуждать в нем одно презрение к себе, да еще, пожалуй, жалость. Ему хотелось показать, что брат не имеет на него ни малейшего влияния и что вся разница между ними только в различии взгляда на жизнь, да в том, что один здоров, а другой болен. На этом же основании, если бы представилась возможность, Андрей Никитич вышел бы даже на борьбу с братом.

Сил в нем, положим, не было, — но неужели же не проснулось в нем хоть на минуту человеческое стремление выйти из настоящего гниения на более свежую жизнь, открывае-

мую ему братом? Нет. У него были свои радости и наслаждения, которые заменяли ему все другие радости и примиряли с жизнью. Он, по общепринятому выражению, *любил*. Любил Рулев старший Сашу – ту швею, которую мы видели на чердаке у старого капитана. Саша, день и ночь сидевшая за однообразной работой, понятно, жаждала жизни более полной. Андрей Никитич был очень красив, добр, говорил, что любит ее, и Саша, конечно, раздумывать долго не стала; это тем более естественно, что не только девушке, подобной Саше, но и вообще большинству русских женщин, кроме приличной физиономии и доброты сердечной, ничего другого в мужчине не требуется. В этой полусонной, голубиной любви и была радость Рулева старшего. Придет к нему Саша и облокотится на его плечо.

– Что ты читаешь? – спросит она тихо и нежно.

– Прочти сама, – скажет Андрей Никитич.

– К чему это? – спрашивает Саша.

– Чтобы знать...

Усталая Саша спрашивает его, что он

знает, и Андрей Никитич рассказывает ей и про геодезию и про ботанику с зоологией, хотя знает эти науки по одним только именам. Саша просит, чтобы он и ее научил чему-нибудь, а он, вместо ответа, только целует ее усталые, бледные руки.

Что такое Вальтер? Какая была жизнь его, я уже сказал читателю и прибавлю еще, что это человек умный, сильный характером и телом, честный, потому что, несмотря на все невыгодные обстоятельства, страшными усилиями, лишениями и бедствиями приобрел себе независимость и жил так, что никто не мог заставить его покраснеть намеком на какой-нибудь нечестный с его стороны поступок. Да к тому же он слишком верил в свои силы и для достижения какой бы то ни было цели никогда не прибегал к более коротким, но кривым путям. Из всей своей юношеской жизни он вынес привычку к непрерывной напряженной деятельности мускулов и мозга: обстоятельства были такие. Года четыре назад он бросил свою бродячую жизнь, потому что не мог удовлетворяться жизнью бродячего акробата; а не мог удовлетворяться отто-

го, что тяжелые сцены его юности не исчезли бесследно из его памяти.

Он встретил здесь одну добрую и умную девушку, учительницу Тихову, познакомился с нею, привык говорить и видеться с нею и, наконец, полюбил ее, как простое, честное и любящее существо (он сам был существо любящее, хотя много было людей, которых он не задумался бы раздавить своими руками). Ему же, наконец, надоела одинокая переработка мыслей, хотелось проверить их в ком-нибудь.

Поэтому-то Вальтер с радостью встретил Рулева, как человека, интересовавшегося тем же делом, каким и он интересуется. Вальтер надеялся, что человек, подобный Рулеву, не ограничится одним словоизвержением.

XI

Возвратившись из поездки, Рулев как-то вечером отправился к Вальтеру. В квартире последнего Рулеву сказали, что Вальтер ушел с мальчиком на фабрику, – и Рулев отправился туда.

За фабрикой, на берегу реки, Вальтер прилаживал огромный летучий змей и привязывал к его хвосту длинные красные, синие и белые ленты, – а тут же на траве лежал Миша-щепочник и внимательно смотрел на работу. Вальтер пожал руку Рулева, улыбнулся и продолжал свое занятие. Потом, когда змей наладили, Вальтер приподнял его, мальчик побежал с нитками, и великолепный змей поднялся на воздух.

Вальтер лег на траву и закурил сигару.

– Я хотел было начать с того, чтобы учить мальчугана читать, – сказал он. – Но теперь не хочу и братья за учебу.

– Отчего? – спросил Рулев.

– Я был у доктора. Говорит, что мальчуган не доживет до весны: слишком уж исстрадался. Думаю, что в таком случае пусть себе на-

слаждается – ест, спит, играет – к чему тут ученье...

– Совершенно справедливо, – заметил Рулев, – если только у самого не будет охоты учиться.

– Конечно, тогда не откажу, – сказал Вальтер. – Где были и что видели? – спросил он после небольшого молчания.

Рулев рассказал ему свою поездку, обрисовал и более выдающиеся личности, какие встречал, но говорил о всем этом так безразлично, что его можно было считать и промышленником, и ученым, изведывающим плохо знакомую землю, и просто привыкшим к бродячей жизни человеком.

Мальчик с распущенным змеем уселся на берегу реки. Внизу текла гладкая, как зеркало, похолодевшая река; змей тихо качался в вышине, колебля своими красными, синими и белыми лентами; дышалось над рекой приятно, свежо и легко, а грудь мальчика точно уставала и от этого чистого воздуха.

– Ну, умрет, – заговорил Вальтер. – Что мне в нем? Знаю я его не много дней, привыкнуть не успел, а ведь жаль.

– Человека жаль, – заметил равнодушно Рулев.

– Да, – повторил Вальтер. – На счастливую жизнь он имел такое же право, как вы или я. А ведь это не один погибающий ребенок.

Рулев засмеялся.

– Их гибнет по крайней мере вчетверо больше, чем остается в живых, – отвечал он на вопросительный взгляд Вальтера:

– Разве это так и должно быть?

– Конечно, нет. Но я полагаю, что нам с вами не стоит и говорить об этом: зло мы видим и делаем, что можем.

– Отчего мы так мало можем! – горько проговорил Вальтер.

Быстро темнело; ветер стихал; река бежала точно тише; камыш точно засыпал, а вдали за рекой, на утесе, развели огонь, и медленно опускалось и поднималось его пламя. Города не стало видно, и не было слышно кругом человеческого голоса, только перелетали птицы, и вдали слышался гул из города, точно быстрый топот лошадей в степи. Пишу эту картину не ради ее самой, а потому, что Рулев и Вальтер были люди, в которых ночь в поле,

в степи или лесу, на берегу реки, с свободно веющим ветром – шевелила в памяти много разных воспоминаний и делала беседу друзей более интимною.

Рулев заговорил откровеннее.

– Отчего, – сказал он, повернувшись к Вальтеру: – вы не русский, а любите нашего простолюдина, как можно любить человека, только сжившись с ним, да и горе его разузнав основательно.

– А оттого, – сказал он тихо, – что с тех пор, как я, начал думать о людях, я жил только среди этого народа. Землю я видал только русскую, песни слышал только русские и другой жизни не знаю.

Вальтер подумал немного и опять продолжал:

– Горе его я тоже знаю, но сил избавиться от этого горя пока не вижу – это-то и горько... Я, Степан Никитич, полжизни даром шатался, а так, без дела, тяжело жить... Какое же дело?.. Ну, ребенка вот накормил... Что же дальше?

– Сил нет, так создавайте их, – заметил Рулев, – хоть жить учите...

– Приходится и жить учить...

– Да, наконец, и силы есть, если на то пошло, – прибавил Рулев, вставая, бросил папироску и отправился к мальчику. Тот медленно сматывал змей, прислушиваясь к его трещанью.

Вальтер думал, как действовать дальше, чтобы Рулев лучше узнал его и отбросил всякие намеки и околичности. Обрато поехали в лодке: Рулев вызвался грести, и лодка быстро пошла по тихой и темной реке.

– Вы здесь ни с кем не знакомы? – спросил Вальтер.

– Хорошо ни с кем почти.

– Хотите вы познакомиться с одной умной девушкой? – она здесь учительницей.

– Познакомьте, – сказал лаконически Рулев, ловко и весело работая веслами.

– Она моя невеста, – прибавил Вальтер, принимаясь за руль.

– Познакомьте, – повторил Рулев.

Мальчик, улегшийся на дне лодки, долго присматривался к блещущим при свете месяца веслам и потом запел в такт гребли какую-то монотонную песню.

XII

Вальтер познакомил Рулева с учительницей Тиховой. Вот и еще личность, с которой Рулев несколько сошелся и имел на нее влияние. Тихова действительно, как говорил Вальтер, была умная и добрая девушка. Как и большая часть наших женщин, она мало видела, мало испытала и, говоря короче, была создана не полною жизнью ее времени, а жизнью тесного кружка, в котором ей приходилось действовать. Созданная этим тесным кружком, она, естественно, не могла иметь широкого, светлого взгляда на жизнь, хотя и в ней бессознательно выражались иногда еще не совсем уясненные потребности современного человека.

Тихова была умная и работающая девушка. Она ребенком еще постоянно работала с матерью. Мать пела за работой кольцовские песни: скоро и дочь, ради этих песен, выучилась читать, а потом и мать и дочь распевали вместе. Был тогда у девочки брат, теперь где-то убитый. С братом этим она ходила по утрам к родственнице, учившей их тому немногому,

что она сама знала. На улицах брат, – на том основании, что он мальчик, а она девочка и ходила очень тихо, – сталкивал ее в канавы, прогонял прочь, и бедная девочка горько плакала, не отставая все-таки от брата из страха заблудиться. Она была в таком же положении, как собачонка, которую на улице бьет капризный ребенок, которая визжит, страдает, но опять-таки бежит за этим ребенком. Жаловаться матери девочка не хотела и кончила тем, что перестала любить брата и привязалась к одной только матери. В вечном разговоре с матерью за работой в тихой комнате, где перед образом спасителя постоянно горела лампадка, девушка, взрослая на поэзии, под влиянием горячей любви и нежности, сделалась религиозной.

Мать отдала ее в женское училище; девушка прекрасно кончила там курс, да там же и осталась, уже в качестве учительницы. Точных и самостоятельно усвоенных знаний она, конечно, не имела, но все-таки знала больше других в ее летах девушек.

Она была красивая, стройная. Русые волосы ее маленькой головки были густы и

необыкновенно мягки, немного бледное лицо очень нежно. Ходила она легко, говорила спокойно, и любимая ее привычка была – во время разговора облокотиться на стол или ручку кресла, опуститься щекой на свою бледную руку и пристально смотреть своими выразительными глазами на лицо говорящего. И сидела она неподвижно, лицо ее было внимательно и задумчиво. Случайно познакомилась она с Вальтером. После сидячей работы она любила иногда гулять за городом в поле, – она и ходила с Вальтером и с какой-нибудь из своих учениц.

Вальтер привык к ней, полюбил ее и рассказал ей свою жизнь без всяких утаек. Не мудрено, что к нему Тихова тоже привязалась. Теперь они считались уже женихом и невестой.

Рулев держался своего убеждения, что когда предстоит дело и есть силы, то нужно действовать, нет сил, так нужно искусственно создавать их. Он видел в Тиховой девушку умную, да еще занимающуюся таким делом, как воспитание, поэтому считал полезным передать ей свой взгляд на жизнь и воспитание. –

Не все же спокойной посредственностью наслаждаться и в самодовольствии жить, думал он. Пусть узнает другие требования и мнения, поработает над ними, сравнит... Этак прочнее будет ее деятельность...

Он разбивал Тихову при каждом возникавшем споре, потому что если спорил, то всегда прежде всего выставлял строго научные, математически доказанные факты, соглашался, что они недостаточно еще полны, но предлагал, чтобы и для поддержания противоположного мнения выставлялись более полные или доказательные факты. Значит, ни на какие сердечные убеждения перед ним нельзя было ссылаться.

Один раз говорили насчет воспитания.

– Какое же, по вашему мнению, призвание человека? – спросила Тихова.

– Почему же вы думаете, что непременно призвание должно существовать? – также спросил Рулев.

– В таком случае весь склад частной жизни человека, по-вашему, только от него одного и зависит, что всякая случайность...

– Я никаких случайностей не признаю и не

знаю, – сказал Рулев.

– Как так?.. – Тихова, конечно, удивилась.

– Не признаю, – сказал Рулев. – Случайно-стью прикрывают теперь наше незнание.

– Что же делать? – спросила она однажды Рулева после долгого и энергического разговора с ним.

Рулев задумался и начал ходить по комнате. «Стремления есть у ней, а есть ли силы?» – думал он.

.....

Тихова ни слова не могла произнести после этого и молча опустилась на спинку стула. Рулев горько улыбался и опять начал ходить по комнате.

– Нет, – заговорил он, мало-помалу овладевая собой. – Всякому следует делать то, что он может, и больше этого ни от кого нельзя требовать... Вот вам, например, – вам тяжело видеть страданье человека, – ну и смягчайте это страданье, где встретите: разве мало его вокруг вас и разве против него нет у вас никаких средств?

– Я мало знаю, что делается вокруг меня, – сказала Тихова, как будто в ответ на поразив-

шие ее слова Рулева. Она знала, что если Рулев говорит что-нибудь, то имеет на это основание, но ей страшны были его слова, как слышавшийся ночью набат и крики о пожаре.

– Войдите же в эту жизнь... Войдите только, а там с вашей любовью к человеку вы сами увидите, где ваша помощь нужна будет.

– Вот, – говорил Рулев на прощанье, – есть случай познакомиться вам с женским работающим народом. Я встретил здесь одну молодую девушку. Она швея и работает на магазин – значит, терпит за свой труд нужду и, вероятно, оскорбления. В девушке этой очень много любопытного. Она очень неглупа и молода, но всю свою жизнь прожила в одном круге, за одной механической работой. В этом замкнутом круге ей, конечно, душно, и она пустилась в разные мечтанья и устроила в голове своей особый фантастический мир. Дайте ей знания, познакомьте ее с жизнью – и ее ум, который тратится теперь на пустяки, может пригодиться на хорошее дело.

– Давно вы ее знаете? – спросила Тихова.

– Нет, один только раз говорил с ней.

Тихова с удивлением взглянула на него. Рулев засмеялся.

– Я, видите ли, убежден, – сказал он, – что характер человека создается его впечатлениями. А жизнь этой девушки и преобладавшие над ней впечатления я знаю: она сама, как ребенок, рассказала их. – Так дело, как вы видите, в том, чтобы дать этой девушке более благодарную работу и средства к образованию.

– Я могу сделать и то и другое, – сказала Тихова.

– Превосходно, – весело сказал Рулев и вскоре за тем ушел. Он не без основания распространялся о развитии характера человека. «Полезно, – думал он. – Пусть не воображает, что одним хорошим воспитанием можно сделать и хорошего человека».

XIII

На другой день вечером Рулев младший отправился в отцовский дом. В маленькой комнате, выходящей на двор, старый капитан в фуфайке и картузе своем сидел у столика, придвинутого к окну, и играл в карты с старым ротным товарищем, таким же седым и израненным великаном.

– Ваш младший сын приехал? – спрашивал гость, заметив через окно Рулева, когда тот входил в калитку отцовского дома.

– Приехал, – коротко ответил старик.

– Вы с ним что же, капитан? в разладе? – спрашивал полковник.

– Нечего мне с ним возиться, – произнес старый Рулев, останавливаясь и поднимая свою седую голову. – Он мне не сын; а об отце своем ему бы надо было спросить у своей матери, – dokonчил он и сверкнул глазами. Потом он опять опустил голову и дрожащими руками продолжал сдавать карты.

Степан Рулев проходил мимо окна и все слышал. Он побледнел, потому что на клевету и сплетню смотрел как на такого рода мошен-

ничество, которое мешает судить о людях по их действиям, представляя честные поступки в уродливом и грязном виде. К клевете и всякой лжи он относился в высшей степени беспощадно. Здесь же дело шло еще об умершем человеке, и Рулев чувствовал себя в таком же положении, как если бы стоял лицом к лицу с человеком, бившим беззащитного ребенка. Он прямо пошел наверх.

Плакса сидела за работой одна и пела свою песенку. Рулев поздоровался с ней и сел. Он был, по видимому, спокоен, но немного бледнее обыкновенного.

– Вот что, – говорил он ласково, – вы можете найти работу гораздо выгоднее теперешней. Вам нужно будет сходить для этого к одной очень хорошей и доброй девушке – переговорить. Вот адрес ее. Вы читать умеете?

– Нет, – тихо сказала Плакса, – не умею. – Она уж не смотрела, как прежде, на Рулева и тихо работала.

Рулев прочитал ей адрес.

– Не забудете? – спросил он ласково.

– Не забуду, – ответила она также тихо и все работала.

– Если забудете, – можно будет попросить кого-нибудь прочесть, – сказал Рулев, положил адрес, встал и прошелся по комнате. В саду ходил Андрей Никитич с Сашей. Внизу все еще говорили. Рулев прислонился к стене, закурил папиросу и посмотрел на руки – руки дрожали.

– Вы завтра, может быть, будете иметь время? – спросил он опять Плаксу.

– Завтра я зайду к ней.

– Хорошо; прощайте пока! – сказал Рулев и спустился вниз. Он прошел в сад, сел около ворот на скамью, снял фуражку и задумчиво начал курить. Андрей Никитич увидел брата и подошел к нему.

– Здравствуй! – сказал он.

– Здравствуй! – равнодушно ответил тот, бросил папиросу и молча начал ломать какую-то ветвь.

Андрей Никитич почувствовал себя не совсем ловко.

– Давно ты здесь? – спросил он, садясь.

– Недавно.

Наступило молчание. Старший брат кусал губы.

– Теперь, – заговорил Степан Рулев с желчной улыбкой, – ты себе вопросы задаешь: зачем я тут сижу? Тебя я не искал, в дом не иду, прочь не убираюсь и тебя ни о чем не спрашиваю – спросил бы прямо: чего, мол, тебе надо? да и конец.

Он посмотрел на брата и засмеялся. Тот тоже смеялся.

– Так знай же, что мне с отцом надо переговорить, – да у него гость, – объяснил Рулев.

– С отцом? – спросил, удивившись, старший брат.

– С отцом, – повторил Рулев младший и, увидев уходившего полковника, надел фуражку и ушел из сада.

Старый капитан все сидел у стола, надвинув на глаза картуз и перебирая карты. Начиная темнеть. Вошел его младший сын. Старик взглянул на него и продолжал тасовать карты.

– Я хочу с вами говорить, – сказал Рулев, закрывая окно и садясь у другого конца стола.

Капитан все сидел в прежнем положении.

– Мне нужно было, вы говорите, спросить мою мать о моем отце? – прямо начал Рулев,

смотря на отца.

– Ого! – сказал, выпрямившись, старик. – Это что ж будет?

– Разговор будет, – холодно ответил Рулев. – Какое право имели вы сказать это? На чем основывались?

Старый капитан облокотился на стол и положил подбородок на ладони. Глаза его за сверкали из-под седых бровей на сына. Он несколько минут молча смотрел на него.

– Ты, брат, думаешь, что я толковать с тобой стану? – спросил он сурово.

– Читайте, – сказал сын, бросив на стол перед отцом записку учителя.

Старик взял ее и прочитал. Руки его тряслись, побледневшие губы дрожали. Он положил записку на стол, встал и прислонился к печке.

– Поняли? – спросил Рулев.

Старик отрывисто кивнул головой.

– До сих пор вы на нее клеветали, – продолжал Рулев, вставая и подходя к старику. – Теперь вы клеветать не станете? – спросил он.

Рулев говорил тихо и сдержанно, потому что не терпел никакого крика. «Злость берет,

так убей, раздави, а орать нечего», – говорил он обыкновенно. Старик тоже говорил тихо и глухо, потому что у него дыханье захватывало от гнева.

Они стояли лицом к лицу. Старик взглянул было на сына и опять опустил глаза.

– Да и не для чего, – говорил Рулев, подходя к столу и беря фуражку, – теперь она уж не обидится, не заплачет, не станет в ногах валяться. Уложил – ну, и конец игре!

Старик вне себя выступил вперед с сжатыми кулаками, но покачнулся и упал на пол. Кровь хлынула у него горлом. Рулев положил его на кровать, открыл окно, позвал брата и сел на стол.

– Ты убил его! – вскричал Андрей Никитич.

– Где тут, брат, доктора найти? Он и для тебя, кажется, нужен, – насмешливо сказал Рулев младший, надел фуражку, зашел к доктору и отправился к себе на квартиру. Он был просто зол в это время – ничего больше. Глаза его горели, лицо было утрюмо, все движения как-то сдерживались, точно все мускулы были в напряжении. Людей, с которыми он мог обойтись и хуже, было очень много; но много,

хоть и меньше, было и таких людей, которые знали Рулева за добрейшего и деликатнейшего человека.

Но здесь была дикая, враждебная сила, а ей нечего было ждать от Рулева никакой пощады.

XIV

Вскоре после этой сцены Рулев опять уехал из города. В своих странствиях он иногда натыкался на крепких и дельных людей, могущих помогать его работе. Такие люди хотя и не часто встречаются, но есть теперь везде. В одной деревне встретил он странного, хромого и угрюмого господина, торговавшего книгами, грифельными досками и бумагой. Господин этот носил бороду, длинные волосы, ходил в стареньком сюртучке и брюках, запущенных в сапоги. Звали его Илья Кудряков. При первой встрече Рулев услышал следующий разговор этого Кудрякова с мальчиком, покупавшим азбуку:

- Учиться хочешь? – спросил Кудряков.
- Смерть хочется, – отвечал мальчик.
- А кто учить тебя будет?
- Сестра выучит. Кудряков подумал.
- Хочешь за зиму и читать и писать выучиться? – спросил он потом.
- За зиму? – повторил мальчик и засмеялся.
- Хочешь – так я тебя стану учить... Приеду

сюда зимой и выучу.

В другой раз Рулев встретил его на дороге, и еще сильнее поразила его эта широкоплечая, угрюмая и прихрамывающая фигура. Кудряков в одной рубашке и штанах, засунутых в сапоги, шел по окраине дороги за повозкой и покуривал трубку.

Рулев попросил у него огня.

– Далеко едете? – спросил Рулев.

– А вот в этой же деревне и заночую, – ответил Кудряков, показывая трубкой вперед.

– Книгами торгуете?

– Книгами... Прощайте! – торопливо прибавил Кудряков, приподнял фуражку и, прихрамывая, зашагал за своей повозкой.

Рулев подумал, подумал и порешил к ночи вернуться в эту деревню. К закату солнца он действительно вернулся в нее и опять встретил Кудрякова, ведущего поить лошадь. Они поклонились друг другу.

Рулев остановился у знакомого мужичка Сивожелезова.

У Сивожелезова же ночевал и Кудряков. Придя в избу, он спросил поужинать, вынул бутылку с водкой, выпил рюмку и начал пре-

спокойно ужинать.

– Вы – Степан Никитич Рулев? – обратился он к Рулеву.

– Рулев, – ответил тот с удивлением.

– Я на ваш след частенько нападаю в последнее время. Недавно я видел ваших приятелей таких-то и таких-то.

«Я-то уж не по твоим ли следам брожу?» – подумал Рулев и начал расспрашивать его о здешнем крае. Кудряков знал его несравненно лучше Рулева и, как нарочно, сообщал такие данные, которые интересовали Рулева больше всего.

– Вы специально занимаетесь статистикой? – спросил напоследок Кудряков.

– Да, – отвечал Рулев.

На дворе заржала его лошадь и нетерпеливо затопала ногами, ходя вокруг столба, к которому была привязана. Рулев вышел расседлать ее и дать ей корма.

Илья Кудряков был сын рыбака. Отец его был мужик умный и начитанный, хотя и отличался не то суровостью, не то мрачностью характера. По отце и Илья Кудряков вышел умен.

Брал его отец на рыбную ловлю. Ездили они вместе по широкой реке, весной далеко заливавшей берега, так что на воде стояли деревья и росли кусты. Отец не разговаривал много, а удил рыбу, напевал песни и изредка только перекидывался с Ильей несколькими словами. Илья смотрел себе кругом, слушал, бегал по берегу, и глубоко, на долгие годы запали ему в память и речной воздух, и глубокое безмолвие степи, крутые берега, изрытые весенними ручьями и поросшие лесом, крик птиц, пролетающих над водой; стало ему в городе душно и нехорошо, – вечно хотелось в поле, на реку – бегать и купаться.

В городе случилось с ним еще несчастье. Барин, промчавшийся по улице на беговых дрожках, переломил ему ногу. Это было так: Илья играл на улице в бабки; завидев дрож-

ки, побежал он прочь с дороги и упал, а дрожки проехали по его ноге. Илья заревел, попробовал было, опираясь на землю, встать, но, конечно, уже не мог. Пришел отец, бледный больше, чем изувеченный сын, – посмотрел и поднял Илью.

– Чего ревешь? – спросил он угрюмо дорогой. – Ни ревом, ни бранью ничего тут не поделаешь.

Долго лежал Илья в душной горнице, вспоминал о реке, о ходьбе, о беганье по лесному берегу и горько плакал. Отец, возвращаясь с промысла, ходил по горнице, слушал его стоны и хмурился.

– Чего ревешь-то? тебе говорю, – утешал он его... – Вырастешь – сам увидишь, что терпеть надо... Терпи.

Наконец понемногу стал Илья ходить по улицам, и первым приветствием ему были насмешки товарищей. Сначала Кудрякову стало невыносимо тяжело. Долго раздумывал он и злился, а потом и злиться перестал и, под влиянием сурового отца, начал смотреть на людские отношения с глубокою ненавистью. Разумеется, такой взгляд не создался ра-

зом – было много колебаний и всяких сомнений; но об этих колебаниях и сомнениях я не стану распространяться, потому что надеюсь впоследствии полнее анализировать развитие Кудрякова. Вечно он или сидел на заборе, смотрел на улицу и в темный вечер швырял в прохожих камнями, или уезжал с отцом на промысел и словно отдыхал на тихой реке.

В доме у них нанимал квартиру гимназист – сын какого-то сельского священника. К нему Кудряков часто хаживал послушать хорошую книгу. Это было поводом к сближению молодых людей. Раз как-то, наслушавшись исторических рассказов, Кудряков в восторге обнял гимназиста и на другой день сказал ему:

– Хочешь у нас даром жить?

– А что?..

– Учи меня читать; а денег за квартиру мы не станем с тебя брать. Я так и отца упрошу.

Гимназист согласился, согласился на эти условия и отец Кудрякова, и Илья с этого дня начал учиться. Ему в это время было уже пятнадцать лет, и потому он очень скоро выучился читать и поступил в гимназию. К то-

варищам и учителям он относился грубо и холодно и жил полным нелюдимом. Он работал неутомимо, успевал прочитывать громадное число книг и, по чуткости своей натуры, усваивал из них только жизненные, реальные знания. Все бесплодные метафизические бредни он в эти лета глубоко презирал.

Он кончил гимназический курс, подумал, закупил книги, бумагу, карандаши и тому подобные вещи и отправился торговать по деревням и селам. Детская любовь к нежилому, вольному месту, рекам, лесам и полям сказала теперь в нем, хоть далеко не одна эта любовь навела его на эту деятельность. В нем впоследствии Рулев нашел своего лучшего друга и сотрудника.

XVI

Рулев младший шел как-то к Вальтеру, с которым он уже хорошо сошелся. Дорога пролегла около монастыря, и когда Рулев оглянул монастырские стены, из ворот обители вышла Тихова.

– Степан Никитич, – позвала она задумчиво проходившего Рулева.

Рулев поднял голову.

– Здравствуйте, Анна Михайловна! – сказал он, наконец, и пожал ей руку.

– Мне нужно с вами переговорить об одном очень серьезном деле, – сказала Тихова. На бледном лице ее теперь играл румянец, глаза блестели ярче обыкновенного.

Рулев пошел с нею обратно.

– Вальтер, – заговорила Тихова с каким-то сдержанным спокойствием, – опросил меня сегодня: хочу ли я быть его женой?.. Он меня любит давно уже...

– Вальтер – человек честный и правдивый, – сказал Рулев, не поднимая головы.

– Да. Я вижу одно только препятствие отвечать ему утвердительно, – тихо продолжала

Тихова. – Препятствие в том, что я люблю вас, – закончила она, вздрогнув и посмотрев на Рулева.

Ей давно думалось, что с Рулевым нельзя говорить иначе, как прямо и вполне откровенно; в его присутствии ей чувствовалось, что такой разговор с ним в высшей степени прост и естествен.

Рулев продолжал идти.

– Анна Михайловна, – заговорил он, и голос его точно дрогнул. – Я не люблю вас: я люблю только одно мое дело. А вы...

Ему хотелось сказать ей, что, по его мнению, она не только не поддержит его в его деле, но скорее свяжет. Но ему как-то жаль стало ее, и он смолчал.

– Думаете ли вы, Рулев, что я могу все-таки выйти за Вальтера? – спросила Тихова, оставиваясь.

– Отчего же нет? – спросил Рулев, смотря на нее своим светлым взглядом.

– И больше вы ничего не можете и не хотите мне сказать?

– Ничего, – ответил Рулев.

Тихова хотела что-то еще сказать ему, но

не смогла: у нее голова закружилась...

– Прощайте, Рулев! – произнесла она, усиливаясь сохранить спокойствие и протягивая ему руку.

– До свиданья, Анна Михайловна! – ответил он, но не так уже ясно и спокойно, как прежде.

Тихова крепко и страстно пожала ему руку и ушла. У нее слезы навертывались на глазах. А Рулев опять пошел к Вальтеру; но ему стало тяжело и грустно. Точно будто от горячо любимых людей отрывался он в дальнее плавание по морю, где впереди угрожают ему бури, ураганы, подводные мели и битвы. Бури и битвы были бы, впрочем, приятны Рулеву, потому что за ними была близка и цель, к которой он шел; но долго еще придется ему испытывать однообразное плавание, изведывание и ожидание.

«Трудно вырваться из жизни, как бы она ни была пошла, – думал он:– трудно создать свою – с иными радостями и наслаждениями, более нормальными. Почему это? Потому, конечно, что окружающая безмятежная жизнь имеет свою втягивающую, заманчивую силу,

против которой бороться не легко. Вынесу ли я эту борьбу? не увлекусь ли где-нибудь нежным, сладкогласным, располагающим к негепением?.. Вздор», – порешил Рулев и насмешливо улыбнулся.

Он пришел к Вальтеру довольно спокоен и решителен.

– Помните ли вы наш разговор в поле, когда мы змей пускали? – спросил он, плотно затворив дверь и усаживаясь на диван.

– Помню, – сказал Вальтер, остановившись посередине комнаты.

– Я сказал тогда, что «силы есть у нас», – продолжал Рулев, поглаживая бороду и пристально смотря на Вальтера. – Теперь я хочу пояснить это, – прибавил он твердо.

XVII

Воротившись домой, Тихова долго ходила, а потом села за фортепьяно и заиграла что-то грустное, точно прощальное. Из соседней комнаты вышла Плакса в новом простеньком платье, с шалью на голове.

– В церковь? – спросила чуть слышно Тихова.

– Ко всенощной, – ответила Плакса, облачиваясь на фортепьяно.

Тихова опять заиграла. Плакса несколько минут слушала ее; она хотела было поговорить с ней, но, заметив, что она не расположена говорить, Плакса вздохнула и тихонько ушла.

Горячо молилась она в угрюмой древней церкви, стоя на коленях в углу. Молилась она больше о Рулеве. Неотразимо стояла перед нею его спокойная высокая фигура, с честным и добрым лицом, с светлыми умными глазами. Плаксе теперь хорошо жилось. Работала она, пока не уставала, училась, наслаждалась музыкой Тиховой, слушала ее рассказы о других странах, а прежняя нужда и непосильная

работа были забыты. За все это она была бесконечно благодарна Рулеву, и свою затаенную признательность к этому человеку она выражала теперь, как умела, в своей простодушной молитве.

А Тихова в это время задумчиво сидела над фортепьяном. Думалось ей теперь: неужели нет другого исхода для ее любви к Рулеву? Она была молода, он тоже; она любила его; неужели же непременно следовало из этого – связать ее жизнь с его жизнью? Да и могла ли бы она быть его сотрудницей в его работе; хватило ли бы у ней сил для такой суровой жизни, которую ведет Рулев? И силилась она убедить себя в невозможности и бесполезности этой любви, хотя все мысли и чувства ее по прежнему были на стороне Рулева.

Пришел Вальтер. Он смотрел теперь как-то особенно весело и браво. Тихова пожала ему руку и старалась улыбнуться. Они долго ходили по комнате и говорили. Вальтер передал ей планы Рулева. Тиховой опять стало невыносимо тяжело.

- Он уезжает, – прибавил Вальтер.
- Надолго?..

– Не знаю; да и сам Рулев не знает...

– Ах, Рулев, Рулев! – с глубоким вздохом повторила Тихова и затем крепче сжала руку Вальтера, прислонилась к его плечу и тихо зарыдала.

XVIII

На другой день вечером Рулев сидел за работой – писал письма. Вошел старший брат его и, не снимая фуражки, подошел к столу. Рулев посмотрел на него и, не сказав ни слова, продолжал писать.

– Отец умирает, – отрывисто произнес Андрей Никитич.

Рулев нахмурил брови.

– Ну, – сказал он резко, смотря брату в лицо.

– Пойдешь ты к нему?

– А он велел звать меня?

– Зовет, проститься хочет.

Рулев начал ходить по комнате.

– Что же? – спросил тот.

– Да что, – саркастически заговорил Рулев младший. – В подобных случаях обыкновенно водится просить обоюдно прощения... А на мой взгляд – пока жили мы, так и делали по своему разуменью дело; а пришел конец, так и толковать нечего, потому – делу всякому конец.

– Умирает он, брат...

Рулев пристально посмотрел на него.

– Ты, кажется, хочешь сказать этими словами, что – ты же, мол, милый братец, и убил его? а?..

– Да, – сказал Андрей Никитич, и лицо его побледнело.

– Для тебя собственно, – продолжал он, становясь лицом к лицу с братом, – я могу сказать, что когда я говорил с отцом в последний раз, так делал честное дело и повторить его не откажусь никогда – понял? – сказал он отрывисто...

– Прощай! – сказал Рулев старший, надевая фуражку.

– Прощай! – отвечал младший брат и сел за работу.

Через несколько минут он встал и лег на кровать. Лежал он и час и другой.

По лестнице кто-то шел, тяжело и медленно ступая. Рулев обернулся. Вошел Кудряков в своем сюртучке и брюках, запущенных в сапоги, в накинутом сверху верблюжьем плаще и старом картузе. Он поставил в угол палку, снял плащ и крепко пожал руку Рулеву. Рулев был искренно рад ему.

– Приехал в город нарочно повидаться с вами еще раз до вашего отъезда, – сказал Кудряков, садясь на стул.

Загорелое лицо Кудрякова, на первый взгляд, было угрюмо, но всмотревшись пристальнее, можно было найти в его чертах одно только глубокое, твердое спокойствие. Люди, подобные Рулеву и Кудрякову, выработавшие самостоятельный взгляд на жизнь и определившие себе известный род деятельности, – всегда обладают полным, сосредоточенным спокойствием. Их можно растерзать, раздавить, убить, но запугать или заставить согнуться – нельзя. Они знают это.

Кудряков закурил свою трубочку.

– Я сомневался застать вас, – сказал он.

– У меня на руках есть еще чужие дела – дела завода, – сказал Рулев.

– Я об этом и не подумал, – заметил Кудряков.

Они проговорили далеко за полночь. А старый капитан умирал в своем маленьком домике. Перед образами горели лампы, на столе свечи. Шел дождь и стучал в саду по листьям деревьев. Старый товарищ капитана,

полковник, сидел подле кровати умирающего. Тут же лежал, вынутый по просьбе старика, капитанский мундир, в котором старый Рулев геройствовал в битвах, и лучи света играли на его пуговицах.

Старший сын ходил по комнате, а младшего старик еще ждал напрасно.

– Не придет, – сказал он, наконец, глухо.

Дождь стучал. Андрей Никитич ходил по комнате, и шаги его резко отдавались по всему безмолвному дому. Заскребли где-то мыши, ветер зашумел деревьями, застучала в конюшне лошадь. Жизнь с страшною ясностью слышалась умирающему в каждом звуке и точно звала его.

– Похороните меня в этом мундире, – сказал он опять.

Часы пробили двенадцать. Где-то запели песню. Она томительно отозвалась в ушах капитана. Ему хотелось бы, чтобы он умирал где-нибудь в темном погребе, где бы ни вода не капала с сырых стен, не шевелился воздух, не слышалось ни одного звука. Ему хотелось бы, чтобы весь мир умер вместе с ним.

– Степан, Степан! – стонал он.

– Ты, Андрей, хоть заочно попросил бы у него старику прощенья, – сказал он с глубокой тоской.

К вечеру он умер, не дождавшись своего младшего сына.

XIX

Пришла и свадьба Вальтера. Рулев стоял на хорах в темном углу и облокотился на перила. Церковь блистала огнями, вокруг колонн горели свечи.

– Все к лучшему, – проговорил Рулев и пошел вниз. Вслед ему гремело радостное, стройное пенье. Он затворил тяжелую церковную дверь и пошел по улице.

Долго ходил он по набережной реки, обдумывая маршрут и планы предстоящей поездки.

На возвратном пути Рулев проходил мимо новой, освещенной квартиры Вальтера. В раскрытые окна слышалась музыка, мелькали женщины в бальных платьях... Рулев остановился на минуту, потом пошел домой и лег спать. Завтра ночью он порешил уехать.

Перед отъездом Рулев зашел к брату, чтобы переговорить кой о чем. Андрей Никитич сидел на окне: перед ним стояла Саша и плакала. Заметив Рулева, который в это время только что показался в дверях, Саша быстро ушла в другую комнату. Рулев посмотрел ей вслед, сел на стол и опять взглянул на брата.

– Ты на ней не женишься? – спросил он сурово.

– Она еле-еле читать умеет.

– Научи.

– Не годится она мне в жены, – сказал с досадой старший брат, переходя на диван и ложась.

– Однако ж из тебя, брат, вышел порядочный мерзавец, – сказал ему Рулев с расстановкой. – Она и одна голодала – куда же ты ее с ребенком отправляешь?..

– Это лично мое дело, – глухо отвечал старший брат. – А за слово мерзавец ты, я полагаю, ответишь мне?

У него глаза заискрились. С пистолетами в руках он равен был бы брату. Эта борьба была

бы ему по силе... Рулев насмешливо смотрел на него.

– Драться? – сказал он тихо... – Эка охота!.. Ты, как видно, меня за героя какого-то принимаешь. Стреляться я ни с кем не стану. Назовешь ты меня мерзавцем напрасно, так я об тебя мою палку обломаю, а то просто изобью как собаку... За дело назовешь, так я с тобой соглашусь, а дело поправлю. – Он опять посмотрел на брата, и как-то жалка показалась ему эта бледная фигура, припавшая головой к спинке дивана и бессильно кусавшая свои тонкие, красивые губы.

– Вот что, – продолжал Рулев с какою-то жалостью в голосе: – нечего терзаться и проклинать себя. С таким настроением духа можно до одного только подвига дойти: лоб себе прострелить. Сегодня я еду отсюда, так на прощанье сделаем мы хоть одно порядочное дело вместе.

Андрей Никитич упорно молчал.

– Саше надо дать возможность зарабатывать деньги, – продолжал Рулев. – Она может взять несколько девушек и брать заказы. – Вот мои деньги, – продолжал он, вынимая бу-

мажник: – ты, конечно, столько же дашь своих, и для начала будет довольно. Ты передашь ей деньги?..

– Нет, – коротко ответил Андрей Никитич, и насмешливая улыбка заиграла на его скривившихся бледных губах. Он опять-таки власть свою хотел показать.

Рулев после этого надел фуражку и пошел было к двери, но остановился и опять посмотрел на брата.

Тот неподвижно лежал и самоуверенно улыбался. Рулев так и ушел, не сказав больше ни слова. Дома он написал о Саше записку Тиховой и уехал.

Дальнейшей судьбы его я пока не знаю.

Примечания

1

...женский голос запел «Хуторочек» – песню на слова А. В. Кольцова, музыка А. Дюбюка.

2

Жизнь... есть глупая шутка... – насмешливое по отношению к Лермонтову использование слов из его стихотворения «И скучно и грустно...»